

А. Г. Ганжа

МОДАЛЬНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

The article deals with modalities of enforcement in contemporary culture. In general, lack of freedom in the culture of “inconclusive modern” is implemented in forms of putative prohibition of free space and effective prohibition of free time. Mobility, which is identified with spatial freedom, in fact is a converted form of temporal unfreedom. On the other hand, in the culture of “realizable modern” the whole of human space and human time is essentially social and therefore unfree, but exactly because of this fact free cultural space and free time to think and speak may grow up in this type of culture.

Ключевые слова: *современная культура, культурный запрет, принудительное, свобода, несвобода, мобильность, темпоральная организация культурной среды*

Keywords: *contemporary culture, cultural prohibition, enforcement, freedom, unfreedom, mobility, temporal texture of cultural medium*

Современная культура, — культура «незавершенного модерна», — как и всякая культура, состоит из запретов и требований эти запреты нарушать. «Культурный запрет» отличается от «политического запрета» или «морального запрета» именно тем, что действенность этих последних высока настолько, насколько хорошо они соблюдаются, тогда как действенность «культурного запрета» равна количеству — и степени разнообразия — способов этот запрет обойти. К примеру, запрет на инцест — это моральный, но в то же

время и культурный запрет. Моральный запрет на инцест запрещает сексуальные контакты между близкими родственниками. Культурный запрет на инцест разрешает такие контакты, но в превращенной форме — в форме фантазма, произведения искусства, темы для обсуждения на телешоу и так далее. Объединим все виды запретов, не требующих косвенным образом нарушать то, что они прямо запрещают, под общим названием «обычных запретов». Если обычный запрет запрещает *делать* что-либо, то культурный запрет запрещает *молчать* о том, что служит объектом обычного запрета. Запрет на делание исключает из сферы совместной жизни людей то, что несет угрозу мирному и размеренному течению этой жизни. Запрет на молчание, напротив, включает все эти опасные и трансгрессивные вещи в сферу мыслимого и проговариваемого и, таким образом, создает собственное пространство культуры.

«Культурный человек» — то есть не просто вежливый и воспитанный, а именно систематически реализующий в своей деятельности культурный запрет на молчание — должен вести себя так, как будто обычных запретов не существует. При этом не так уж и важно, соблюдает ли он в действительности обычные запреты или нарушает их. Впрочем, здесь сложно говорить о каких-то закономерностях. Серийный убийца в тюрьме пишет мемуары, которые хорошо продаются, но вряд ли могут претендовать на место в культурном пространстве, разве что в качестве референтного образца (*квази*)культурного феномена «мемуаров, написанных серийными убийцами в тюрьме». С другой стороны, нередко случается, что любовная лирика, принадлежащая перу поэта, далекого от аскетизма и целомудренности, обретает высокий культурный статус. Более того, мы даже готовы простить поэту некоторые грехи против

седьмой заповеди, если его весьма «вольные» стихи талантливы и незаурядны. Будучи моральными существами, мы не должны и не можем убить человека. Будучи «культурными людьми», мы — по меньшей мере — обязаны демонстрировать определенную свободу в обсуждении этой темы. А в идеале мы — в целях повышения собственного статуса в культурном пространстве — обязаны овладеть навыками «культурного», словесного убийства, равно как и «культурного» заимствования чужих мыслей.

Распространенная точка зрения на соотношение свободы и несвободы — если выразить ее в наших терминах — состоит в том, что обычный запрет ограничивает свободу, то есть создает пространство несвободы, тогда как культурный запрет, напротив, предписывает человеку свободное отношение к обычным запретам и тем самым создает пространство свободы. В этом смысле свобода воли — это свобода соблюсти или нарушить обычный запрет, но соблюсти или нарушить не вслепую, повинувшись страстям или внешним импульсам, а *сознательно* и, следовательно, *культурно*. Если мы соблюдаем или нарушаем запрет, оставаясь не более чем молчаливыми исполнителями этого акта покорности или трансгрессии, то мы при этом не покидаем пространства несвободы. Если же мы относимся к соблюдению или нарушению запрета *рефлексивно*, то мы тут же, можно сказать *автоматически*, обретаем внутреннюю свободу. Стоит нам только задуматься о том, как устроена «система», стоит только обсудить с друзьями какой-нибудь действующий закон или иное начальственное распоряжение, — пусть даже в самом благонамеренном и восторженном тоне, — как мы уже внутренне свободны, потому что отнеслись к соблюдению предписаний деятельно и предупредительно.

Главный недостаток такой точки зрения на соотношение свободы и несвободы — полное игнорирование исторических и культурных различий. Отождествление «пространства культуры» и «пространства свободы», характерное для предыдущей стадии западной культуры, — стадии «реализующегося модерна», — теряет свою актуальность в эпоху, исторический смысл которой сформирован осознанием недостижимости абсолютного порядка и гармонии в человеческом мире. Наша точка зрения состоит в отказе от трактовки свободы и несвободы как двух *модальностей* отношения к обычным запретам. Мы будем рассматривать свободу и несвободу в качестве *объектов* как обычных, так и культурных запретов. Наша принципиальная интуиция заключается в том, что в культуре «реализующегося модерна» действует обычный запрет на свободу и культурный запрет на несвободу, тогда как в культуре «незавершенного модерна», напротив, действует обычный запрет на несвободу и культурный запрет на свободу.

Расцвет и в то же время кризис культуры «реализующегося модерна» пришелся на эпоху «империализма», завершившуюся с крахом «тоталитарных империй» двадцатого века. Обычный запрет на свободу мог осуществляться в этой культуре в политической или уголовной форме, однако наиболее фундаментальным образом этот запрет воплощался в самой текстуре общественной жизни — в гипертрофии социального пространства по сравнению с личным пространством и в ненормальной насыщенности социального времени по сравнению с индивидуальным временем. При этом производители культурных высказываний, претендующие на место в культурном пантеоне, должны были действовать так, словно никакого запрета на свободу не существует. То, что сегодня выглядит как не-

вероятная смелость и «фига в кармане», которую умудрялись не замечать цензоры, в действительности было единственным способом добиться высокого статуса в пространстве «тоталитарной культуры». Холуйская позиция «деятели культуры» могла поощряться премиями и должностями, однако производимый им культурный продукт, если он нес на себе явственный отпечаток несвободы, никогда не становился визитной карточкой советской культуры, например, на зарубежных кинофестивалях. Настоящего успеха добивался тот, кто не был бунтарем «в жизни», но при этом создавал подлинно новаторское и свободное искусство. Часто, однако, случалось так, что талантливая реализация культурного запрета на несвободу трактовалась властью в качестве нарушения обычного запрета на свободу, в качестве попытки сказать «свободное слово» в социальном пространстве несвободы.

Культура «незавершенного модерна» — это культура общества, в котором действует фундаментальный запрет на несвободу. Запрещено не только ограничивать чужую свободу в той или иной форме, запрещено *быть* несвободным. Так, запрет на ношение хиджаба — это запрет на *самоограничение*, трактуемое как ограничение собственной свободы. Наиболее очевидным образом запрет на несвободу проявляется в моральном неодобрении любого поступка, который человек совершает — как это видится со стороны — «против своей воли». Например, осуждение наркомании связано, в основном, с тем, что будущего наркомана кто-то «втягивает» в пагубную привычку, что он подпадает под чужое негативное влияние, оказывается в дурной компании. Если бы мы были уверены в том, что некто *абсолютно свободно* начал употреблять наркотики и не столько не может, сколько не желает бросать это занятие, мы бы не

только не осудили этого человека, но скорее одобрили его выбор, поскольку в нашем представлении каждый волен распоряжаться собственной жизнью так, как ему заблагорассудится.

Изнанкой «обычного» запрета на несвободу в современной нам культуре является не менее фундаментальный «культурный» запрет на свободу. Похожие отношения складываются и в других сферах современной культуры, например, в академической среде, в системе массмедиа или в *школе*. — Человек, формируемый современной школой, способен свободно выбирать и потреблять те жизненные «опции», которые предоставляет ему общество, но не способен свободно мыслить и свободно высказывать свои мысли. Школа является основной «культурной» инстанцией, подавляющей свободу мысли и свободу слова в самом зародыше.

Разумеется, мы можем здесь говорить в том числе и о злой воле или некомпетентности отдельных учителей или чиновников от образования, однако ключевую роль в негативном влиянии школы на умы и сердца подрастающего поколения играет «институциональная» организация школьной среды. Школьная среда, — среда, в которой ребенок впервые обучается правилам существования в культурном пространстве, правилам производства культурно значимых высказываний, — эта среда наполнена разнообразным методическим и педагогическим содержанием, но в своих существенных формально-организационных чертах она строится на особом порядке распределения школьного и внешкольного времени. Именно *темпоральная организация* культурного пространства, моделируемого школой, формирует мысль и речь будущего «культурного человека».

Можно утверждать, что школа — например, советская школа —

создавала ребенку некоторые специфические права¹ и что гаранти-

¹ Во-первых, ребенок имел *право на смысл* — он мог быть уверен в полной осмысленности совершаемых им действий. Он знал, что если сегодня он учит урок, то завтра он получит возможность выйти к доске и рассказать то, что он выучил, что учитель внимательно его выслушает и выставит справедливую оценку. Если он делает какую-то трудоемкую работу, то работа будет обязательно проверена и его усилия не окажутся тщетными. При этом он знал, — или в крайнем случае всегда мог спросить учителя, — *что именно* требуется от него при выполнении того или иного задания и *как именно* это задание будет оцениваться.

Во-вторых, ребенок имел *право на ошибку* — он не сомневался в том, что его ошибка будет обнаружена, однозначно квалифицирована и разъяснена, что учитель достаточно опытен, чтобы увидеть различие между «ошибкой», «опи-ской» и «нарушением конвенции» (например, принятых в школе правил оформления тех или иных типов заданий), что ошибка, наконец, вполне *допустима* — потому что людям вообще свойственно совершать ошибки и ничего страшного в этом нет. Допустимость ошибки имеет важные следствия. С одной стороны, если ошибка допущена, то она *может* и *должна быть* исправлена. Ошибка — не «приговор», а повод для более тщательного погружения в предмет. С другой стороны, допустимость ошибки означает, что учитель также имеет право на ошибку, что в ошибке учителя также нет ничего страшного и что эта ошибка также может и должна быть исправлена.

В третьих, ребенок имел *право не иметь «собственного мнения»*. Конечно, нельзя утверждать, что в советской школе культивировался полный отказ от мнений в пользу чистого знания. Выработка «собственного мнения» была частью технологии усвоения школьного знания, в частности, на уроках литературы. Однако ценным считалось не наличие мнения как такового, а умение это мнение обосновать. Поэтому обоснованный, аргументированный отказ от выработки мнения по тому или иному вопросу также считался положительным результатом обучения и заслуживал уважительного отношения. Не менее важным является то обстоятельство, что различные, даже несовместимые мнения учеников не рассматривались как соперничающие в игре с единственным победителем, как «правильные» или «неправильные», «более правильные» или «менее правильные». Оценка разных мнений была скорее моральной и в то же время косвенной. Так, если кто-то высказывал мнение, что Татьяне не следовало отвергать по-прежнему любимого ею Онегина, то такое мнение не квалифицировалось как «неправильное» и не осуждалось, но в то же время и не оценивалось как заслуживающее уважения просто в силу того, что это чье-то личное мнение. Уважения заслуживает не манифестация собственной личности, но умение осмыслить и словесно выразить дистанцию между собой и другим: «Я бы на месте Татьяны не отвергла Онегина, но сама Татьяна не могла не сделать этого, потому что...» Или даже: «Я не знаю, как поступила бы (*то есть*: у меня нет мнения на этот счет), но Татьяна поступила так, потому что...» Таким образом, имеет значение не столько наличие или отсутствие личного мнения, сколько способность понять, почему другой человек думает и поступает так, а не иначе.

ей этих специфических прав выступала именно темпоральная организация школьной среды. — Главным условием соблюдения прав являлось *наличие времени*. У ребенка *есть время* на уроки, а у учителя *есть время* на то, чтобы их проверить. У ребенка *есть время* на то, чтобы остановиться и подумать над решением трудной задачи. У учителя *есть время* на то, чтобы вчитаться в решение задачи и понять, что ребенок решил ее нестандартным способом, но решил правильно. У ребенка *есть время* на то, чтобы спросить учителя о чем-то, а у учителя *есть время* на то, чтобы ребенку ответить. У учителя *есть время* на то, чтобы объяснить ребенку, в чем суть допущенной им ошибки, а у ребенка *есть время* на то, чтобы разобраться и исправить ошибку. У ребенка *есть время* на то, чтобы изложить аргументы в защиту своего мнения или объяснить, почему мнения нет, а у учителя *есть время* на то, чтобы внимательно выслушать ребенка и подробно разобрать плюсы и минусы его позиции. У ребенка *есть свободное время*, но и у учителя тоже *есть свободное время*, которое он — если захочет — может потратить в том

В четвертых, ребенок имел *право на молчание*. Молчание, отказ отвечать ни в коем случае не рассматривались как всего лишь формальный повод поставить двойку. Дело в том, что пространство внешкольной, домашней жизни ребенка, в котором, вероятно, и следовало искать причины молчания, — это пространство не было абсолютно внешним и чуждым школьной среде. Учитель обязан был эти причины найти и попытаться устранить или хотя бы смягчить их негативное воздействие. То, что происходит с ребенком вне стен школы, имеет прямое отношение к процессу внутришкольного обучения и воспитания. Ребенок существует в *едином* пространстве семьи и школы, и было бы неправильно и жестоко разделять в этом маленьком человеке две ипостаси — «семейную», в которой он выступает объектом, страдательной, пассивной стороной, и «школьную», в которой он почему-то оказывается полностью сформировавшимся и автономным субъектом, несущим полную «юридическую» ответственность за свои поступки. Ребенок не должен считаться ответственным и вменяемым субъектом молчания. Молчание подчас является единственным способом выражения семейных проблем, доступным ребенку, и поэтому ребенок *должен* иметь право на молчание, а учитель *обязан* отнестись к

числе и на своих учеников.

Причиной нарушения всех этих прав является *отсутствие времени*. Ни у ребенка, ни у учителя элементарно *ни на что не хватает времени*. Именно в форме *отсутствия времени* реализуется культурный запрет на свободу. Мы не можем свободно мыслить и свободно высказывать свои мысли просто потому, что у нас нет на это времени.

Парадокс культуры «реализующегося модерна» заключается в том, что здесь все человеческое пространство и человеческое время является социальным и, значит, несвободным, однако *именно поэтому* здесь может появиться свободное пространство культуры и свободное время, чтобы мыслить и говорить — то есть чтобы создавать культуру. В частности — внешне жестко регламентированная школьная среда *моделирует* формы производства свободных культурных высказываний за счет мощного ресурса свободного времени, которое имеется в наличии именно потому, что все школьное и околошкольное время предельно жестко упорядочено.

При этом образы несвободы, господствующие в современной культуре, носят преимущественно *пространственный* характер: «гнет», «теснота», «давящая атмосфера», тюрьма, обездвиженность. Логика этих образов подсказывает, что человеку труднее всего смириться с запретом на свободное перемещение в пространстве, — речь идет, разумеется, не только о *физическом* пространстве, — и поэтому в человеке следует сизмальства воспитывать стремление этот запрет нарушить, но нарушить неким *превращенным*, а именно — *темпоральным* образом. Если среда давит и душит, то следует

молчащему ребенку всерьез.

найти отдушину в форме «свободного времени» — «досуга» или такого «будущего», в котором гнета и тесноты уже не будет. Однако эта привычная логика — логика *пространственной несвободы* и *темпоральной свободы* — при более пристальном исследовании сама оказывается *превращенной*. Дело в том, что в современной экономике *символического обмена* главным перераспределяемым ресурсом является именно *время*. Здесь, чтобы быть успешным, мало свободно распоряжаться собственным временем, — надо безраздельно владеть *чужим временем*. Мы все ежедневно ощущаем, что наше время кому-то или для чего-то требуется. У нас ежечасно отнимают не только «досуг», но и «будущее». Мы все — школьники, преподаватели, врачи, чиновники, водители, пешеходы — ежеминутно *теряем* бесценное время, выполняя абсурдные, по-человечески невозможные действия. Что мы получаем взамен? — Мнимую пространственную свободу в форме *мобильности*. Таким образом, подавление свободы в современной культуре осуществляется в форме *мнимого*, как бы *слишком легко преодолимого* запрета на свободное пространство и *действительного* запрета на свободное время. *Мобильность*, отождествляемая с пространственной свободой, в действительности является превращенной формой темпоральной несвободы.

Сферу принудительного можно описать не только с помощью понятий «обычный запрет», «культурный запрет», «темпоральный запрет» и «запрет на свободное перемещение», но и с помощью дихотомии «конституциональное — суплементарное». Преодоление конституциональных запретов невозможно или малопродуктивно. Здесь речь идет о формах запрета на мысль, чувство и понимание, или о принуждении мыслить, чувствовать и понимать особым спо-

собом. Санкции для нарушителей этих запретов радикальны, быть нарушителем этих запретов опасно, неудачные попытки вторжения в сферу конституциональных запретов часто квалифицируется как твердолобость и иррациональность «менталитета». Нас же интересуют запреты необязательные, несистемообразующие, преодоление которых требует всего лишь некоторого мужества и воображения. По нашему мнению, это и есть сфера свободы в собственном смысле слова — реализация возможности быть автономным, рациональным и творческим человеком. Только страх и глупость могут помешать сбросить ярмо суплементарного запрета. Но и здесь можно вычленить традиционную необязательную принудительность и принудительность, идущую в ногу со временем, быстро рождающуюся и быстро умирающую. Последний вид запретов так слабо детерминирован, что о быстро умершем запрете говорят в форме недоумения, с насмешкой и порицанием.

Перечислим теперь некоторые традиционные суплементарные запреты: — запрет на свободный способ выражения (экспрессии); — запрет на отсутствие экспрессии; — запрет быть не тем, кто ты есть; — запрет на живую мысль; — запрет совершать нелепые поступки; — запрет на немотивированное отшельничество.

При перечислении этого вида запретов становится ясно, что пространство культуры — аристотелевское: все — в меру. Исключается момент беспредельного и бесконечного.

Наконец, назовем некоторые из нетрадиционных суплементарных запретов, большей части которых уготовано исчезновение и забвение: — запрет не быть отформатированным; — запрет создавать препятствия движению пассажиров; — запрет не конвертировать свои таланты должным образом; — запрет не подвергаться

обновлению и реформированию; — запрет на развернутое высказывание; — запрет на немотивированность; — запрет болеть или быть здоровым; — запрет не быть свободным от невроза; — запрет быть старым и дряхлым; — запрет математику Перельману не разговаривать с журналистами и не праздновать свой сорокапятилетний юбилей.

Инструменты, при помощи которых нарушители запретов отслеживаются и порицаются, достаточно устойчивы — осуждение, игнорирование, «непонимание» и особый «наказывающий» лексикон («это нонсенс», «это невозможно», «нормальные люди так не поступают», «пустой человек», «что вы от меня в таком случае хотите», «мы же предупреждали», «в чем вы нас хотите обвинить», «только не здесь и не сейчас» и т.п.).

Мы надеемся, нам отчасти удалось показать, что как реализация запрета на несвободу в культуре «реализующегося модерна», — в частности, в советской культуре, — так и ограничение свободы в современной нам культуре «незавершенного модерна» происходит в форме наличия или отсутствия времени — главного ресурса человеческой свободы.

Сведения об авторе: *Ганжа Анна Геннадиевна*, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры наук о культуре отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ.